

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3. //Правда,  
Москва, 1977  
FB2: , 25 April 2008, version 1.0  
UUID: 231e5c39-7fb5-102b-9c90-12cbc7843eac  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

**Истинно русский человек**

# Содержание

I.....	.0004
II.....	.0006
III.....	.0009
IV.....	.0015
V.....	.0020
VI.....	.0027
VII.....	.0034

**Константин Михайлович  
Станюкович  
ИСТИННО РУССКИЙ  
ЧЕЛОВЕК**

Я знавал Аркадия Николаевича Орешникова еще в те времена (в конце шестидесятых годов), когда он и не думал с азартом бить кулаком по своей здоровой, выпяченной груди, называя себя истинно русским человеком, – не находил еще, что «наша матушка Россия всему свету голова» и имеет исторически провиденциальную миссию ничем не походить на изолгавшийся, развращенный «говорильнями», прогнивший Запад, – не выражал желанья подтянуть «зазнавшуюся чухну» и на веки вечные изгнать «низкого жида» из пределов империи, – просвещения не отрицал и, с чужих слов, не повторял о настоящей необходимости восстановить телесные наказания для подъема нравственности и вообще добрых начал, заметно оскудевающих.

В те отдаленные времена, когда я познакомился с Аркадием Николаевичем, он, разумеется, ни о чем подобном не мог бы и подумать, а не то что громогласно говорить, да еще с ноздревской развязностью, глядя вам

прямо и нагло в глаза и словно бы думая про себя:

«Я и не то еще могу выпалить!»

Тогда столь же откровенно повторял иные речи и перепевал иные песни этот «просто русский», в ту пору молодой человек, окончивший курс со степенью действительного студента, благополучно служивший помощником столоначальника в каком-то департаменте и пописывавший по временам резвые, либеральные статейки в газетах, отчасти для славы среди сослуживцев и среди знакомых барышень, отчасти для покупки в более изобильном количестве перчаток и галстуков и для более частого посещения опереток и трактира Палкина [1].

Аркадий Орешников в то время был довольно видный, среднего роста, плотный, широкоплечий блондин с маленькими, разбегающимися по сторонам, карими глазками, редкими рыжеватыми волосами, крикливым тенорком и толстыми алыми губами, которыми он имел привычку, сохраненную и поныне, быстро поводить, выражая этим свое удовольствие. Лицо у него было довольно ординарное и без особой «печати мысли» на начинавшем лысеть челе: кругловатое, с мясистыми щеками и толстым носом, но зато свежее, румяное и беззаботно веселое.

Сам Орешников, по-видимому, был более чем лестного мнения насчет своей физиономии, любил заниматься собой, не жалея одеколону, считал себя пленительным мужчиной и действительно пользовался успехом у горничных и у швеек...

Хвастая своими любовными успехами и рассказывая об интриге, героиней которой бывала какая-нибудь простодушная Даша или Матреша, Аркадий Орешников значи-

тельно давал понять, что героиня романа – дама из общества, без памяти в него влюбленная, назвать которую он, как порядочный человек, разумеется, не может.

Он был не глуп, но и не особенно умен, что называется, без царя в голове, но достаточно переимчив и сметлив в житейских делах. Недостаток основательных знаний он и в молодости с успехом заменял чисто славянской отвагой трактовать о каких вам угодно предметах, не моргнувши глазом. Впрочем, он и не очень обижался, когда его останавливали, замечая, что он несет околесную. Он только как-то меланхолически глядел куда-то в пространство, но через четверть часа уже снова готов был говорить с прежней развязностью и о коннозаводстве, и о философии Канта [2].

Всегда поклонявшийся какому-нибудь доморощенному божку, при котором играл роль адъютанта, Орешников так же быстро развенчивал своего божка, находя нового, как быстро и создавал себе идола, перед которым обыкновенно раболепствовал.

Юркий, не без лукавства и в то же время легкомысленный поклонник всякого успеха,

тщеславный и бесхарактерный, никогда серьезно ни во что не вдумывавшийся и не имевший правил, а одни лишь инстинкты, мягкий и добродушный, когда дело не касалось собственной шкуры, прирожденный, так сказать, оппортунист, Орешников был одним из тех людей, гибких, податливых и не имеющих никакого определенного идеала, – людей без резко выраженной индивидуальности, которые повсюду составляют так называемую «улицу».

Само собой разумеется, что в ту пору двадцатипятилетний Орешников называл себя либералом. Правда, он и тогда не одобрял крайностей, тем более, что за них можно было иметь неприятности по службе, и повторял вслед за другими, что наше время – не время широких задач. Хотя он и не отдавал себе отчета, почему это так, но чувствовал, что так надо говорить, и говорил.

Тем не менее он горячо порицал некоторые явления русской жизни того времени, восхищался, даже через меру, Западом, умеренно желал продолжения реформ и страстно – увеличения окладов чиновникам, почитывал журналы и бывшие в моде книжки, восторгался новыми судами и земством, проповедовал о женских правах на высшее образование и изредка даже, после веселого ужина в интимном кружке, таинственно намекал, озираясь вокруг, на своевременность «правового порядка», одним словом, повторял все то, о чем в то время говорили.

Орешников, кроме того, любил щеголь-

нуть не только либеральным образом мыслей, но и цивическими [3] добродетелями и нередко в курительной комнате хвастал перед департаментскими товарищами, что он, при случае, даже не спустит самому начальнику отделения, но в действительности он был жесточайший трус, боявшийся всякого начальства даже более, чем требовалось по времени. Он, конечно, с негодованием отрицал свою трусость, когда кто-нибудь уличал его, и объяснял ее благоразумной осторожностью. Но однажды, в минуту полупьяной откровенности, он сознался, что в нем храбрости мало, тут же залился слезами, называя себя почему-то свиньей, и прибавил, что это у него качество, верно, унаследованное. Пожалуй, он до известной степени был прав. Все его предки, многочисленные Орешниковы, из захудалых, малоземельных дворян, служили чиновниками, и каждый из них всю свою жизнь более или менее провел в страхе и перед начальством, и перед возможностью, того и гляди, попасть под суд за лихоимство, впрочем, довольно умеренное, ибо Орешниковы были осторожны, да и особенно теплых мест

не занимали.

Перед барышнями Аркадий Орешников драпировался в мантию цивического героя и врал, что называется, несосветимо. На журфиксах [4] у матери своей, вдовы статского советника, Феозы Андреевны, он, бывало, так либеральничал, рисовал такие перспективы отдаленного будущего, главнейшим образом о формах свободного брака, что почтенная старушка Феоза Андреевна, всю свою жизнь проведшая в чистке квартиры с метелкой в руках и в заботах жить, как «люди живут», – покачивала в ужасе головой и укоризненно замечала:

– Аркаша... Аркаша! Опомнись!

Но Аркаша и в ус не дул, продолжая открывать широкие горизонты будущего человеческого устройства и невозможно перевирая вскользь прочитанные им статьи.

Свою маменьку он считал отсталой женщиной.

И старушка, жившая с зрелой дочерью Аглаей на маленький пенсioen и проценты с скромного капиталца, составленного покойным мужем при помощи разных негласных

оборотцев с казенными деньгами, во время его долгого служения экзекутором департамента, не раз в то время говорила сыну:

– Ой, Аркадий... С такими понятиями можно и место потерять.

– А наплевать! – хорохорился Аркадий.

– Это как же?

– А так же...

Феоза Андреевна в страхе, бывало, только крестилась, воображая, что Аркаша и в самом деле удерет какую-нибудь штуку, лишится должности и очутится у нее на шее.

Но давнишний ее знакомый и приятель покойного мужа, старый матерый департаментский «юс» [5], Иван Иванович Затыкин, бессменный архивариус, переменивший пятнадцать господ директоров, выдавший виды и понимавший людей, обыкновенно успокаивал огорчавшуюся старушку. Со спокойствием чиновника-философа, давно бросившего мечты о повышении и черпавшего свою философию из департаментского архива и из наблюдений над сослуживцами, он говорил ей:

– Не сокрушайтесь, почтеннейшая Феоза Андреевна, за своего Аркашу. Право, не сокру-

шайтесь.

– Как же не сокрушаться, Иван Иваныч: он иногда такое говорит.

– А пусть себе говорит! Нонче, сударыня, все такое говорят. Сами его превосходительство, господин директор департамента, и тот курьера на «вы» называет... Мода такая-с... Ваш Аркаша выболтается и, по времени, поиному заговорит... А времена, Феоза Андреевна, переменчивы! – многозначительно прибавлял старик, лукаво подмигивая своим выцветшим, но все еще зорким глазом.

– А пока что, как вдруг да Аркаша места лишится?

– Места? За место-то ваш Аркаша зубами держится, будьте покойны, Феоза Андреевна. Недаром Аркадий Николаич из Орешниковской породы... Начальство им довольно, а это, сударыня, как вам известно, главное дело на службе... Ну, и чиновник он ничего себе, исправный... И перо есть... Умеет всякую бумажку, как следует, изобразить. Того и гляди, при вакансии, сделают вашего Аркашу столоначальником, в добрый час будь сказано!

Статская советница успокаивалась за свой

капиталец, предназначенный в наследство  
безнадежной девице Аглае, оставшейся  
непристроенной, и, в свою очередь, начинала  
расхваливать Аркашины способности и ум.

## IV

Господин Затыкин не ошибался. Орешников действительно держался за место зубами и умел отлично ладить с начальством, хотя за глаза слегка и прохаживался на его счет, фанфаронства ради. И писание статей, даже и резвых, не только не вредило тогда по службе (особенно, если статейки не касались ведомства, где служил автор), а, напротив, обращало на автора иногда лестное внимание.

Таким образом Аркадию Николаевичу литература даже помогала на первых порах его житейской карьеры, а он, неблагодарный, впоследствии так бранил эту самую литературу!

Благодаря его же собственной хвастливой болтливости, весь департамент скоро узнал, что помощник столоначальника Орешников «пишет в газетах». Это придало некоторый престиж молодому чиновнику в глазах сослуживцев. Прочли, что он пишет, и одобрили. Довольно бойко и в то же время без резкостей и в умеренном тоне. Начальник отделения, добрый служака из дореформенных чиновни-

ков, стал подавать Орешникову руку. Молва об авторстве помощника столоначальника дошла и до самого директора, который, благодаря этому обстоятельству, впервые узнал о существовании такого чиновника и однажды потребовал его к себе.

Появление курьера с известием, что генерал просит господина Орешникова, произвело в отделении большую сенсацию. Все завистливо недоумевали. Мнительный и болезненный столоначальник, во всем подозревавший интригу против себя, бросил испытующе злой взгляд на своего помощника. Начальник отделения обиженно нахмурился и за то, что помимо его требуют чиновника его отделения, и за то, что он не знал причины этого приглашения. Сам Орешников жестоко струсил и вспомнил, как вчера позволил себе пройтись насчет господина директора. Он старался скрыть свой испуг под видом напускного равнодушия, однако заметно поbledнел, ощутил внезапную боль в пояснице и дрожащей рукой оправлял прическу и галстук перед входом в кабинет директора.

За большим столом, прямо против двери,

сидел сухощавый брюнет, лет сорока, в вицмундире со звездой. При появлении Орешникова, остановившегося у двери, он поднял голову и попросил молодого человека подойти.

Брюнет со звездой мягко и приветливо взглянул на видимо испуганного Орешникова, подал ему руку и проговорил с изысканной вежливостью:

– Вы – господин Орешников?

– Я, ваше превосходительство! – отвечал Орешников слегка дрогнувшим голосом, необыкновенно польщенный, что генерал подал ему руку.

– Кончили университет?

– Да-с.

– Это ваша статья сегодня в «Ласточке» [6]?

– Моя-с.

– Я прочел ее с удовольствием. Очень недурно и бойко написано.

Орешников просто замер от восторга. Могли он ожидать такого внимания от директора департамента? Он весь вспыхнул до корней волос и взволнованно прошептал:

– Я несказанно счастлив, ваше превосходительство!

– Отчего это? – несколько удивленно спросил сухощавый брюнет со звездой.

– Оттого... оттого, что удостоился похвалы такого читателя, как ваше превосходительство!

По лицу его превосходительства пробежала тень. Он остановил пристальный и серьезный взгляд на молодом человеке. Но лицо Орешникова сияло так искренно и дышало таким неподдельным выражением восторга, умиления и преданности, что сухощавый брюнет снисходительно улыбнулся, протянул руку и сказал, что Орешников может идти.

В тот же день директор департамента осведомился у начальника отделения, хороший ли чиновник Орешников, и, получив утвердительный ответ, промолвил:

– Имейте его в виду, когда откроется вакансия столоначальника.

От директора Орешников пришел в отделение с самым равнодушным видом. Он рассказал обступившим его сослуживцам о своей беседе с генералом, в значительной степени преувеличив сказанные ему комплименты, и когда кто-то его поздравил, он небрежно

ОТВЕТИЛ:

– Есть с чем!

А вечером, в одном литературном кружке, Орешников рассказывал, что «его генерал» сделал ему замечание за статью, но что ему «плевать» на это.

На Орешникове, как на чувствительном барометре, отражались все разнообразные оттенки веяний времени. Он был вернейшим указателем того, что думает, о чем говорит и что читает «улица» в данный момент.

Я встречался с Аркадием Николаевичем в те времена довольно часто – он доводился мне родственником – и не без любопытства наблюдал, с какою легкостью он менял свои мнения. Плохо знавшие Орешникова люди звали его «переметной сумой» и в этих быстрых переменах усматривали рассчитанную преднамеренность, но я всегда защищал своего родственника от этих нападок. Если бы была преднамеренность! Ее-то именно и не было. Он и сам не замечал, как с одинаковою стремительностью сегодня порицал то, что еще вчера хвалил, как-то инстинктивно, в силу стадности, приспособляясь к господствовавшим течениям. Вполне уверенный, что выражает собственные мнения, он повторял мнения газеты, которую читал. И – характерная черта русского человека! – повторяя с чу-

жих слов иногда жестокие вещи и поступая подчас далеко не безупречно даже с точки зрения примитивной этики, Аркадий Николаевич во все фазисы своей жизни оставался все тем же добродушным, легкомысленным и веселым человеком, каким я знал его в молодости.

Года через три после нашего знакомства Орешников, сделавшийся столоначальником, отпустивший себе бакенбарды котлетами и переменявший фетр на цилиндр, все еще называл себя либералом, но о дальнейших реформах выражался уклончиво (нужно-де и с настоящими-то разобраться и их упорядочить!). Общество дам и барышень Аркадий Николаевич по-прежнему очень любил – недаром у него были такие пышные алые губы, – но уже не огорашивал слушательниц широкими горизонтами будущего, а больше напирал на эстетические идеалы, любил по весне декламировать «Шепот, робкое дыханье, трели соловья» [7] и выражал боязнь, как бы занятия медициною (хотя он, по существу, ничего против них не имеет) не лишили женщину лучшего украшения – женственности.

Статейки Орешников продолжал пописывать, но уже не столь резвые и с более ограниченным выбором тем: более о гессейнской мухе [8], о колорадском жучке или о попавшемся в растрате коллежском секретаре, на котором можно было излить гражданскую скорбь об «этих прискорбных случаях лихоимства». Насчет худощавого брюнета со звездой Аркадий Николаевич даже и за глаза не позволял себе отзывать непочтительно, а, напротив, говоря о директоре департамента, вдруг становился серьезным и солидным, словно бы отчасти и сам он нес тяготу и ответственность его положения.

Во время «сербского возбуждения» [9] Орешников возбудился до того, что все свободное от службы время носился, как бешеный, по городу, собирал в конках вместе с зрелыми девами пожертвования, плакал и умилялся, заказывал хоругви, провожал добровольцев я везде так трещал о «славянской идее» [10], что охрип. Но скоро пыл его прошел, и Орешников стал поругивать и «братушек», и добровольцев. Затем он с таким же азартом распинаялся за «братушек-болгар» и,

когда объявлена была война [11], воспламенился таким воинственным духом, что хотел было поступить в юнкера, если бы только можно было не рисковать жизнью. Он требовал Константинополя и проливов, найдя внезапно, что без них жить никак невозможно, проливал слезы над героем русским солдатиком, возмущался недобросовестными интендантами и в то же время втайне завидовал непопавшимся счастливым, нажившим на войне сумасшедшие деньги. Плевна заставила его приуныть [12], но не надолго. Успехи нашего оружия вновь окрылили Орешникова. Он снова носился с Константинополем к проливами, умилялся «братушками» и просился было к ним вице-губернатором, чтобы осчастливить их хорошим управлением, а себя хорошим содержанием. Однако это не удалось, и Орешников остался дома столоначальником.

Сан-стефанский договор не вполне удовлетворил расходившегося в ту пору Аркадия Николаевича. Он досадовал, что Константинополь не сделался губернским городом и что там не будет (в этаким-то прелестном клима-

те!) ни русского театра, ни русских чиновников. Собственно говоря, он и сам не знал, зачем ему Константинополь, но храбро говорил и об «естественном выходе в море» я об «обмене продуктов» и «вообще» о «задачах России».

Несмотря на лишение Константинополя, он однако ликовал, надеясь, что, при «целокупной» Болгарии [13] да с нашими в ней начальниками, Царьград [14] от нас не уйдет, – ликовал и вместе с тем бранил Биконсфильда, что называется, на все корки, без малейшего стеснения, даже и у себя в отделении. Он награждал первого английского министра такими ругательными эпитетами, критикуя его внешнюю и внутреннюю политику с такой свободной развязностью, что однажды почтенная Феоза Андреевна, не разобравшая, в чем дело, и тугая на одно ухо, просто-таки обомлела и смотрела на сына испуганно во все глаза, словно на только что вырвавшегося из сумасшедшего дома. Хорошая старушка пришла в себя лишь тогда, когда сын объяснил ей, что дело идет об английском министре и притом гадившей нам державы.

Тем не менее Феоза Андреевна все-таки наставительно заметила:

– А все, Аркаша, ты бы полегче. Чужой, чужой, а все же министр!

– Да вы, маменька, прочтите, как этого «проходимца» газеты честят. Так, маменька, продергивают, что любо! – со смехом отвечал Орешников.

Сан-стефанский «восторг» довольно скоро сменился берлинским «унынием» [15]. Во время конгресса Аркадий Николаевич только и повторял: «мы не позволим!» и раз даже, подкутивши у Палкина, пристал к какому-то посетителю с вопросом «позволит ли он или нет?» По счастью, и посетитель, оказавшийся интендантским чиновником, самым категорическим образом «не позволял», в надежде вновь заведовать каким-нибудь складом, и дело кончилось благополучно. Оба не позволявшие выпили шампанского и завершили вечер в танцклассе.

Когда действительность показала, что следует позволить, Аркадий Николаевич тотчас же и сам «позволил», и с обычной стремительностью везде доказывал, что соображе-

ния высшего порядка заставляют нас быть благоразумными, и из яркого шовиниста обратился в миролюбца, по временам не забывая однако посылать шпильки по адресу Бисмарка.

Не прошло и месяца по окончании войны, как уже Орешников забыл и о войне, и о Царьграде, и о братушках, и занялся спиритизмом, проводя три вечера в неделю на сеансах в обществе спириток. Затем бросил спиритизм и восхищался какой-то приезжей дивой, а после – сведущими людьми. Затем одно время он вновь вдруг заговорил о каком-то «упорядочении», снова стал декламировать: «Вперед, друзья, без страха и сомненья» [16], но внезапно смолк и, решительно не зная, что ему теперь говорить, завинтил без удержа.

Тем временем он уже исправлял должность начальника отделения и, за многочисленностью занятий, статей не писал. Маменька все советовала ему жениться – слава богу, уж Аркаше тридцать семь лет, – но Орешников отклонял этот разговор, находя, что «так» лучше и что семья требует больших расходов.

## VI

Вскоре Орешников получил предложение ехать в провинцию. Он согласился; место было довольно приличное. Но прежде, чем ехать в Оренбургский край, Орешников совершенно неожиданно женился и притом на девице совсем не в его вкусе. Аркадий Николаевич любил барышень свежих и молоденьких, не худощавых, а скорее даже полных, а между тем его молодая жена была особа уже второй молодости, лет тридцати, худощавая, малокровная, поблеклая брюнетка, далеко не красивая, но, разумеется, «симпатичная», как отзывались о ней ее более миловидные подруги. Она была генеральская дочь, умна и с характером, кое-чему училась и читала, в молодости штудировала Гете, недурно играла на фортепиано, знала два языка, отличалась большим тактом и щеголяла манерами и комильфотностью. [17] Она едва ли бы пошла за Орешникова, фамилия которого звучала в ее ушах не особенно красиво, если бы не ее критический возраст и не пышные румяные щеки Аркадия Николаевича вместе с его ослепи-

тельными белыми зубами и мягким характером.

Родственники Орешникова и, главным образом, Феоза Андреевна говорили тогда, что «бедный Аркаша» попался как кур во щи, жевившись на этой перезревшей девице. Он, видите ли, легкомысленно поверил намекам будущей тещи, бойкой вдовы генерала Буеракина, насчет значительного обеспечения за Наденькой. И как было не поверить! Буеракины жили хорошо: квартира, обстановка... мать и дочь одевались щегольски... и вдруг, после венца, вместо значительного обеспечения, Аркаше преподнесли всего три тысячных билета...

– Просто надули Аркашу, – говорила Феоза Андреевна.

И добродушно прибавляла:

– Сам и виноват!.. Зачем перед венцом не оформил дела!

Хотя и Аркадий Николаевич понял, что поступил опрометчиво, однако скоро примирился с положением. Наденька, постоянно говорившая в девичестве, что терпеть не может мужчин, любит одну психологию и никогда

не выйдет замуж, – оказалась такой влюбленной, заботливой и нежной женой, что Орешников скоро забыл, что его «надули» с приданным, и привязался к этой по виду холодной, но необычайно пылкой сухощавой брюнетке, дарившей его такой горячей любовью. Нечего и говорить, что Наденька, как дама умная, скоро понявшая супруга, не замедлила прибрать своего «Аркадия» к рукам, не давая ему этого заметить и умно играя роль послушной жены, готовой исполнять малейшие желания мужа. Это очень льстило самолюбию Аркадия Николаевича.

В губернском городе, где поселились супруги, Наденька скоро сделалась одной из первых дам. Ее называли большой умницей. Она умела поговорить и о литературе, и об истории, и особенно любила психологические разговоры. Она отлично поддерживала связи, была дружна с губернаторшей, со всеми ладила, ни с кем не ссорясь, не сплетничала и вообще держала себя с большим тактом, одеваясь к тому же с изяществом.

Дом свой она вела в образцовом порядке. Квартира у них была уютная, хорошо обстав-

ленная, убранная со вкусом. Ели они отлично и, при умелой экономии Наденьки, жили без долгов. Горничных она всегда выбирала некрасивых, но умела отлично их школить.

Под боком у такой жены Орешников чувствовал себя счастливым, тем более, что с первого же года замужества Наденька, к удовольствию мужа, стала заметно добреть. В ее смуглых, прежде бледных щеках появился румянец. Взгляд черных глаз стал спокойнее и добрее, и прежняя девичья нервность исчезла. Когда Наденька бывала в белом капоте, с распущенными черными волосами и, томно щуря глаза, глядела на Аркадия, — муж находил свою супругу даже обворожительной и нежно уверял ее в своей любви.

В течение двух лет об Орешниковых доносили хорошие вести. Сама Феоза Андреевна, недолголюбивавшая невестку и чувствовавшая, что Наденька считает ее очень «мовежанрной» [18] дамой, стала отзываться о невестке благосклоннее, получив от нее в подарок оренбургский платок вместе с нежным письмом. Когда же Наденька сообщила, что они необыкновенно дешево купили две тысячи

десятин, за которые теперь же дают хорошие деньги, Феоза Андреевна была совсем побеждена и вскоре, по случаю появления на свет внука Николая, послала ему на зубок, несмотря на свою скупость, триста рублей.

Между тем, благодаря нескромности какого-то корреспондента, поднялась так называемая «уфимская история», обратившая на себя внимание правительства на расхищение земель в Оренбургском крае. В числе многих, прикосновенных к этой истории, оказался и Орешников. Вышли неприятности. Хотя Аркадий Николаевич и избежал серьезной ответственности, однако должен был выйти в отставку, успев, впрочем, благополучно продать свой с неба упавший участок за тридцать тысяч.

Справедливость требует заметить, что в деле покупки главной виновницей была Наденька. Сам Аркадий Николаевич сперва находил не совсем благовидным, пользуясь своим положением, покупать за баснословно дешевую цену землю, да еще заведомо принадлежащую башкирам. Но Наденька так умно вела по этому поводу беседы с мужем, указы-

вая, что таким образом приобретают земли «все», причем так горячо говорила о будущности детей (она в это время была беременна и ждала второго ребенка), что Аркадий Николаевич скоро уступил и сделал, как «все». Приобретая землю, он почувствовал себя вскоре вполне довольным и ничего неблагоприятного в этом уже не видал, не предвидя будущих неприятностей. Напротив, он находил, что переход пустующих земель в культурные руки есть в некотором роде полезное для государства дело.

После отставки Орешниковы приехали в Петербург.

В это время Аркадий Николаевич называл себя умеренным консерватором. Он начинал поговаривать о падении основ и бранить ту самую «Ласточку», в которой когда-то помещал резвые статейки и мнения которой, бывало, повторял. Но особенно в ту пору Аркадий Николаевич ругал «негодяев корреспондентов» и говорил, что пора обуздать «этих разбойников пера» и запретить печати касаться лиц, находящихся на службе, чтобы не подрывать престижа власти. Он был по-преж-

нему добродушен, легкомыслен и решителен в суждениях, но на нем лежала печать некоторой меланхолии, которую кто-то из его знакомых назвал «уфимской меланхолией», и искал места.

Несколько лет я не видал Аркадия Николаевича, но имел известия, что он, благодаря хлопотам Наденьки и отчасти своим собственным, устроился очень хорошо: член какой-то временной комиссии, директор в двух правлениях и получает тысяч двенадцать в год. Вместе с тем сообщали, что Аркадий Николаевич очень весел, совсем забыл об уфимской истории, считая ее просто тенденциозной выдумкой либеральной печати, называет себя истинно русским человеком, шьет платье из русского сукна, пьет русские вина, ругательски ругает Европу и жалуется на снисходительность правительства, терпящего гласный суд и разные другие учреждения, во все не отвечающие, по его мнению, нашему национальному характеру. Прибавляли, что Орешников по-прежнему счастлив с Наденькой, имеет трех человек детей и почти ежедневно винтит.

## VII

Нынешним летом, когда я однажды сидел после завтрака перед кафе на бульваре С.-Мишель, пробегая газеты, кто-то громко, крикливым тенорком, окликнул меня по-русски. Смотрю и не верю глазам: передо мной стоял Орешников с супругой.

Аркадий Николаевич, значительно потолстевший, с солидным брюшком, круглый, крепкий и румяный, мало постаревший, весело поводил своими сочными толстыми губами и добродушно улыбался. В петлице краснела орденская ленточка.

– Не узнаете?

– Как не узнать!

Он радостно облобызался со мной троекратно, засуслив мне губы, а Надежда Павловна, изящно, по последней моде одетая, гладкая и раздобревшая, глядевшая из-под белой вуалетки с мушками еще довольно молодожавой для своих сорока лет, приветливо, по-родственному пожала мне руку.

– Наконец-то встретили русского человека, да еще родственника! – радостно отдуваясь,

проговорил Орешников, присаживаясь с Надеждой Павловной к моему столику. – А то пять дней путаемся в Париже и ни одной русской души.

В эту минуту спешно подошел гарсон, вопросительно глядя, в ожидании заказа.

– Чего, Наденька, хочешь? Ведь здесь, в свободной стране, нельзя так просто посидеть. Непременно ешь или пей! – иронически прибавил Аркадий Николаевич.

– Все равно... какого-нибудь питья.

– Вы что это пьете? – обратился Орешников ко мне.

– Гренадин.

– Ну и мы, Наденька, спросим гренадину. Только не фальсификация ли это какая-нибудь, а? Ведь тут держи ухо остро... всякую дрянь дадут...

Аркадий Николаевич говорил так громко, что на него взглянули.

– Говори тише, Аркадий! – остановила его Наденька.

И почему-то особенно приветливо, даже заискивающе улыбаясь гарсону, как делают многие русские дамы, первый раз бывающие

за границей и желающие перед всеми показать, что они не «варварки», – Надежда Павловна, видимо рассчитывая щегольнуть своим французским выговором, произнесла, слегка грассируя:

– Deux grenadines, s'il vous plait! [19]

После нескольких расспросов о родных и общих знакомых, я осведомился, давно ли Орешниковы за границей.

– Месяца уже полтора... Доктора послали Наденьку в Франценсбад, а я кстати в Мариенбаде [20] свой жир спускал... Вот сюда на десять дней приехали, да, кажется, послезавтра уедем...

– Что так?

– И по деткам соскучились, и по России... Не нравится нам вся эта прогнившая цивилизация... Ну и французы тоже... Нечего сказать, хваленый любезный народ! Просто, я вам скажу, дрянь! – со своей обычной развязной решительностью прибавил Аркадий Николаевич, возвышая голос и видимо начиная закипать.

– Аркадий! Потише... На нас обращают внимание! – снова остановила его Надежда

Павловна.

В ее тихом, мягком голосе слышалось почти приказание.

– А пусть обращают. Плевать мне на них! – продолжал Орешников, значительно понижая однако свой крикливый голос. – Пора уже нам перестать раболепствовать перед иностранцами и стыдиться, что мы русские...

И, проговорив эту тираду, Орешников хлебнул питья и продолжал:

– Да, прожужжали нам уши: Европа, парламент, удивительные порядки, а как посмотришь, никакого здесь настоящего порядка нет. Один лишь показной лоск, фальшь, обман, болтовня и обирательство. Еще называется свободная страна... Хваленая французская республика. Везде: «Liberte, Fraternite, Egalite» [21], а с меня, подлецы, на таможене слупили шестьдесят франков за папиросы! Как вам это понравится? – прибавил Орешников, видимо раздражаясь при этом воспоминании.

– Вы, верно, не объявили, что у вас есть папиросы? – заметил я, сдерживая улыбку.

– Положим, не объявил. Так что за беда, ес-

ли у путешественника папиросы... не курить же здешнюю дрянь! Кажется, можно понять, что я их везу не для продажи... Ну, я и рассказывал две тысячи папирос, знаете ли, в белье и в рукава пальто... С какой стати я буду еще этим прохвостам за свои же папиросы платить пошлину, – и без того с нас, иностранцев, везде дерут... Думаю: дам таможенному французу, как давал немцу в Эйдкунене [22], франк и прав! Хорошо. Приезжаем в Париж... Идем к осмотру... Подходит к нам плюгавый какой-то французишка и спрашивает: «нет ли чего?» Я по-французски не очень-то боек, так Наденька любезно так говорит, что ничего нет, объясняет, что мы русские и что я Conseillier d'Etat [23] в отставке... Француз улыбается... А я тем временем показываю ему два франка – отпусти, мол, с богом! А он, шельма, машет с улыбкой головой и велит открыть сундуки... Стал шарить... Вытащил одну коробку, другую, третью, четвертую... Скандал! Да еще, подлец, иронизирует: «Как же вы говорили, что ничего нет? У вас, говорит, целое bureau de tabac!». [24] Ну хорошо, жри деньги! А то водили нас по разным мы-

тарствам, записывали в десять книг, пока не отпустили, продержавши целые полчаса. Нечего сказать, порядки! – с торжествующей иронией заключил Аркадий Николаевич, желавший, по обычаю многих россиян, надуть таможенню.

Я, разумеется, не стал объяснять ему всей наивности этих специально русских жалоб и дипломатически молчал, не без интереса ожидая, как еще Аркадий Николаевич будет бранить европейские порядки. Поначалу, характер его брани обещал быть любопытным.

– Или, например, здешние извозчики... Я ему заплати по таксе да еще, кроме того, обязан давать на водку... Так и в гидах сказано. А если не дашь, он тебя обругает... Это, видите ли, цивилизация!.. Да тут везде обман, наглый обман... Слава богу, мы до такой цивилизации не дошли... У нас, у русских, еще совесть есть. Вчера, например, идем мы с Наденькой по Севастопольскому бульвару, видим вывеска: Cafe-Concert, entree libre... [25] Думаю: зайдём, взглянем. Входим, садимся, а уж гарсон подлетает: «Что, говорит, угодно?» – «А ничего не угодно!» – «Так, говорит,

monsieur et madame [26], нельзя!» Это, видите ли, entree libre... Да ты лучше за вход бери, а не обманывай... А европейское скаредство!.. В Австрии, например, считают, сколько ты булочек съел... Просто мерзость!

– А в Берлине с нас взяли по 50 пфеннигов за то, что мы за обедом в гостинице вина не пили! – пожаловалась Надежда Павловна. – Конечно, не в 50 пфеннигах дело (хотя для экономной Наденьки именно в них-то и было дело), а в наглom обирательстве...

– А хваленая французская вежливость, про которую протрубили на весь мир! – заговорил снова Аркадий Николаевич. – Едем мы вчера утром в конке. Я, признаться, несколько свободно уселся – у них такие крошечные места! Так кондуктор-каналья, вместо того, чтобы подойти и вежливо попросить, крикнул на весь вагон, чтобы я дал другим место, да еще, обращаясь к кому-то, прошелся на мой счет и назвал меня «grov monsieur» [27]. Скотина этакая! А на железной дороге тоже! Один француз вошел в вагон первого класса, приложился к шляпе, без церемонии снял мои вещи, положил их на сетку и уселся на свободное ме-

сто, да еще ехидно объясняет, что места в вагоне не для вещей, а для сиденья, точно я этого и без него не понимаю! Нечего сказать, любезность! Вот, спросите Наденьку, какая у них и любезность-то пакостная, как с ней приказчики в магазинах говорили!

– Не стоит об этом рассказывать! – заметила Надежда Павловна с видом оскорбленной скромности.

– Нет, ты расскажи, Наденька, какие двусмысленные комплименты отпускали тебе эти бесстыдники в Лувре.

Признаться, я удивился, ибо никогда не слышал подобных нареканий на французских приказчиков, и еще в таких магазинах, как Лувр; да, по совести говоря, никак не мог даже и предположить, чтобы у них явилось особенное желание говорить Надежде Павловне, несмотря на ее молодость, комплименты, да еще «двусмысленные».

– Что же они говорили вам? – спросил я Орешникову.

– По-видимому, как будто ничего особенного... Обыкновенная приказчичья любезность... французская манера говорить ком-

плименты, но они при этом смотрели так нагло в глаза, улыбались так двусмысленно, что я, кажется, уже не молодая женщина, а краснела, как девочка... Может быть, француженкам это и нравится, а порядочные русские женщины к этому не привыкли! – с чувством благородного негодования сказала Надежда Павловна и прибавила тоном горделивого превосходства: – Мы ведь не француженки, слава богу!

Я опять промолчал. Надежда Павловна так уверенно говорила, что возражать было и напрасно, и нелюбезно. Мало ли есть дам – и преимущественно не из особенно красивых – умеющих в самых обыкновенных взглядах видеть покушение на роман.

– А едят-то как! – заговорил Аркадий Николаевич, – одна слава, что подают много кушаний, а их обед не стоит наших двух блюд. У нас встал из-за стола – и вполне доволен, даже пуговицу штанов хочется расстегнуть, а здесь? Отобедал и хоть снова садись за стол! Супы – вода... Мясо – не знаешь сам, какое... может быть, и настоящее, а может быть, ты собаку или кошку ешь... Еще бы! Мясо-то у

них полтора франка фунт... и приходится изворачиваться.

– А эти неприличные сцены на улицах?... Эти бесстыдные продажные женщины на бульварах... Их костюмы!? – вставила Надежда Павловна.

– Открытый разврат! – подтвердил и Орешников.

– И хоть бы красивые! Говорили: французки привлекательны... Быть может, мужчины и находят в них привлекательность, но я не нахожу... Я и хорошеньких здесь почти не видала...

– А квартиры здешние?.. Комнаты крошечные... Темнота... Зимой холод... Какой-то «Chouberski» [28], вместо нашей православной печки... А эти ночные крики на улицах!..

– Какие крики? – спросил я.

– Да как же! Горланят себе ночью марсельзу или другое что-нибудь, и горя мало... Идет компания и орет... Или студентов орава с гамом, криком на днях неслась по улице... У нас давно бы в участок взяли за беспорядок, а здесь ори себе, ходи скопом, сделай одолжение! Мешай спать добрым людям, мешай про-

хожим... Это называется свободой... Благодарю покорно!

Я слушал Орешникова, слушал, с каким развязным апломбом он обобщал свои пятидневные наблюдения и критиковал то, о чем имел смутные понятия, и невольно припомнил те времена, когда он с такою же развязностью восхищался французами, стремился «поцеловать камни Парижа», открывал перед барышнями широкие горизонты будущего или энергично требовал Царьграда и проливов.

И, глядя на это добродушное, пышущее здоровьем лицо, я задал себе вопрос: «Что будет повторять этот типичный представитель „улицы“ еще лет через пять?»

А Аркадий Николаевич между тем спешил сообщить свои впечатления и продолжал:

– А газеты здешние каковы! Так-таки и называют своих министров мошенниками и без церемонии изображают их в невозможных карикатурах. Самого президента Карно [29] чествуют чуть ли не идиотом... И все это они называют свободой прессы... Да скажите на милость, как после этого власть может иметь необходимый престиж?.. Оттого-то они и не

уважают правительства и меняют министров, как перчатки... Да что и говорить... Просто прогнившая нация...

В тот же день мы обедали вместе. За обедом Орешниковы не переставали фыркать на «заграницу». Особенно досталось палате депутатов. Несколько дней тому назад они попали на заседание (хозяин гостиницы достал им билет), и Аркадий Николаевич так передавал свои впечатления:

– Одеты все, я вам скажу, как сапожники... Такое место – палата, а они в пиджаках, да вестончиках [30], точно у себя дома... У нас и на службе надень вицмундир, а здесь приходи, в чем тебе угодно... Шум, гам, точно в кабаке... Говорит оратор, и, если он не нравится, никто его и не слушает... Ходят, разговаривают, смеются... Кричат потом: «Voter, voter!» [31], а о чем «voter» и сами, я думаю, не знают... Безобразное зрелище! Да у нас в любом департаменте, ей-богу, больше порядка и смысла, чем здесь в парламенте. Тихо, мирно, благородно все, как следует, по порядку... Написал доклад, вовремя рассмотрят, утвердят и делу конец... Да, батюшка, эти «говорильни» отжива-

ют свой век... Все начинают понимать – даже и лучшие умы в Европе, – что при одном короле больше и счастья, и порядка, чем при пятистах королях-депутатах! Недалеко время, когда Европа придет к этому, и парламенты побоку. Обязательно! И без того повсюду безбожие, сомнение, отсутствие устоев... Одни только мы, русские, еще не забыли бога и совести... Да, не забыли! Как истинно русский человек говорю! – прибавил Аркадий Николаевич и, прослезившись, хлопнул кулаком себе в грудь.

Он выпил почти один две бутылки хорошего «помара» и был несколько возбужден. Покончив с «Европой», он заговорил о великой будущности России и размяк... Он расхваливал и добрый, способный русский народ, оговорившись однако, что его все-таки надо отечески пороть (мужичок сам этого желает), хвалил чудную русскую жену и мать, хвалил теперешнюю трезвую молодежь, нашу широкую натуру, выносливость, гостеприимство, говорил, что мы, слава богу, теперь на настоящей дороге, что всякому порядочному человеку легко дышать, и, заключив свою речь уве-

рением, что нам отнюдь не надо походить на подлый Запад с его развратом, – совсем неожиданно предложил ехать в «Bouffes Parisiennes».

– Хочешь, Наденька? – заискивающе-умильно спросил он жену.

Но Надежда Павловна, все время слушавшая мужа с сочувствием и даже с некоторой гордостью, ответила, что устала. «У нее и голова болит, да и вообще она не охотница до таких представлений!» – прибавила Надежда Павловна, чуть-чуть кривя свои тонкие губы и чуть-чуть подчеркивая слово: «такие».

– Не пойти ли нам вдвоем? – нерешительно обратился ко мне Орешников, взглядывая искоса на жену.

– Да ведь и ты, Аркадий, устал. Лучше пораньше ляжем спать, да хорошо выспимся.. А, впрочем, как тебе угодно. Мною, пожалуйста, не стесняйся!

Аркадий Николаевич тотчас же согласился, что оно, пожалуй, и лучше лечь пораньше спать, и скоро мы распростились. Орешниковы просили не забывать их в Петербурге. Они собирались уезжать в Россию через два-три

дня.

На другой же день мне пришлось еще раз встретиться в Париже с Аркадием Николаевичем.

Это было поздно вечером. Я возвращался из театра по большим бульварам и столкнулся нос к носу с Орешниковым, выходящим из ресторана с отдельными кабинетами под руку с молодой, подмалеванной кокеткой. Он был весел, игрив и громко смеялся. Вертячая француженка ласково назвала его «mon petit cochon» [32] и хлопала по животу.

В этот самый момент Аркадий Николаевич и увидал меня.

Он немного смутился и, пожав мне руку, конфиденциально проговорил:

– Нельзя, знаете ли, быть в Париже и... того... Вы смотрите, как-нибудь не проговоритесь в Петербурге Наденьке. Я ведь сказал ей, что мы с вами обедаем.

– Будьте покойны! – отвечал я, смеясь, и прибавил: – Ну, по крайней мере понравились ли вам хоть парижанки?

Он добродушно залился веселым смехом и сказал:

– Хоть французы и дряннь народ, а женщины здесь и в Вене...

Он не закончил фразы, сделал выразительный жест, причмокнул своими толстыми губами и, послав мне воздушный поцелуй, скрылся со своей дамой в карете.

*1890*

# 1

*Трактир Палкина* – располагался на Невском проспекте.

[^^^]

## 2

*Кант, Иммануил* (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма.

[^^^]

# 3

*Цивические.* – Цивизм – гражданские чувства.

[^^^]

# 4

*Журфикс* – постоянные дни для приема гостей  
(франц.).

[^^^]

# 5

*Департаментский «юс».* – Юс – здесь в значении законник, крючоктвор (*устар.*).

[^^^]

«*Ласточка*» – название ежемесячного журнала «для дам и девиц», издававшегося в Петербурге в 1859–1860 годах.

[^^^]

*«Шепот, робкое дыханье, трели соловья»...* – начальная строка известного стихотворения А.А.Фета.

[^^^]

*Гессейнская (гессенская) муха* – хлебный комарик, насекомое, истребляющее хлебные посевы.

[^^^]

*Во время «сербского возбуждения»...* – Имеется в виду восстание 1875 года в Боснии и Герцеговине, знаменующее собой начало нового этапа борьбы славянских народов против владычества турок.

[^^^]

...трещал о «славянской идее»... распинался за «братушек-болгар»... – В 70-е годы в России развернулось широкое общественное движение в пользу братских славянских народов в связи с восстаниями в Боснии и Герцеговине, жестоким подавлением турецкими войсками Апрельского восстания 1876 года в Болгарии и другими событиями национально-освободительной борьбы славян.

[^^^]

*...когда объявлена была война...* – Русско-турецкая война началась 12 апреля 1877 года.

[^^^]

*Плевна заставила его приунуть...* – После ряда неудачных попыток русская армия ценой огромных потерь взяла Плевну 28 ноября 1877 года.

[^^^]

...«целокупной» Болгарии... – По Сан-Стефанскому договору, подписанному 19 февраля 1878 года, Болгария превращалась в вассальное по отношению к Турции государство, но объявлялась автономным княжеством с правом избрания князя.

[^^^]

*Царьград* – старое название Константинополя.

[^^^]

*Сан-стефанский «восторг»... сменился берлинским «унынием».* – Имеется в виду Берлинский конгресс 1878 года, пересмотревший решения Сан-Стефанского мирного договора в ущерб России и славянским народам. Представителем Англии на этом конгрессе был премьер-министр Биконсфилд, председательствовал канцлер Германии Бисмарк.

[^^^]

*«Вперед, друзья, без страха и сомненья»...* –  
Контаминация двух первых строк стихотворения А.Н.Плещеева (1825–1893) «Вперед!» (1846).

[^^^]

*Комильфотность* – то есть соответствие правилам приличия (франц.).

[^^^]

*...считает ее очень «мовежанрной»... – то есть дурного тона (франц.).*

[^^^]

Два гренадина, пожалуйста! (*франц.*)

[^^^]

*Франценсбад, Мариенбад* – известные австрийские курорты (были расположены на территории нынешней Чехословакии).

[^^^]

«Свобода, Братство, Равенство» (франц.).

[^^^]

*Эйдукунен* – прусское местечко и железнодорожная станция на русско-прусской границе.

[^^^]

Государственный советник (*франц.*)

[^^^]

табачная лавка! (*франц.*)

[^^^]

вход бесплатный (франц.)

[^^^]

господин и дама (*франц.*)

[^^^]

«важный господин» (франц.)

[^^^]

«*Chouberski*» – экономичная переносная комнатная печь (франц.).

[^^^]

*Карно, Мари Франсуа Сади* (1837–1894) – французский государственный деятель. С 1887 года – президент французской республики.

[^^^]

*Вестончик* – піджачок (франц.).

[^^^]

«Голосовать, голосовать!» *(франц.)*

[^^^]

«мой маленький поросеночек» *(франц.)*

[^^^]